

Константин Георгиевич Паустовский Дым отечества

От автора

В 1944 году, примерно за год до конца Великой Отечественной войны, я написал небольшой роман и назвал его «Дым отечества». Рукопись этого романа при довольно сложных обстоятельствах была потеряна в том же 1944 году. От рукописи у меня осталась только одна глава.

Много позднее, в 1963 году, в Калуге вышла моя книга «Потерянные романы». В ней я рассказал, между прочим, историю своих трех потерянных романов, в том числе и романа «Дым отечества». Вскоре после выхода этой книги я получил письмо из Казани от одной читательницы. Она писала, что, работая в Государственном литературном архиве, случайно наткнулась на рукопись «Дыма отечества».

Я очень благодарен ей. Вообще читатели у нас удивительные — благодарные, строгие и немедленно отзывающиеся на все, что происходит в нашей литературе.

Итак, рукопись нашлась, и я решился опубликовать этот роман, пролежавший в архивах

около двадцати лет, в журнале «Москва», а сейчас включаю его в свое новое Собрание сочинений. Это роман о нашей интеллигенции в канун и во время минувшей войны, о ее преданности Родине, ее мужестве, ее испытаниях и размышлениях и о тех неумирающих жизненных явлениях, какие мы называем «личной жизнью», забывая подчас, что нет и не может быть личной жизни вне своего времени и вне общей жизни страны и народа.

Конечно, если бы мне пришлось писать роман на эту тему сейчас, я написал бы его по-иному — кругозор писателя с каждым прожитым годом становится шире, оттачивается и его литературное мастерство. Но я печатаю роман без значительных изменений, как одно из свидетельств эпохи, своего тогдашнего восприятия и понимания людей и событий.

Часть первая

Глава 1

Людам хотелось бы все сохранить — и розы, и снег.

Герцен

Всю зиму мезонин простоял без жильцов. Печей в нем не топили. В щель под балконной дверью намело сухой снежок.

От снега за окнами в двух низких комнатах было так светло, что пожилой художник Николай Генрихович Вермель, снимая эти комнаты, назвал их, так же как и хозяйка, «светелками».

Хозяйка была стара, гораздо старите Николая Генриховича. Она стеснялась сесть в кресло при постороннем и разговаривала стоя. Стоять ей было трудно. Она держалась за притолоку и робко смотрела на Вермеля выцветшими глазами.

Увидев старушку, Вермель почему-то решил, что она плохо слышит, и говорил с ней громко, почти кричал. Старушке было совестно, что ее принимают за глухую, но она не решалась сказать об этом художнику.

С тех пор так и повелось — Вермель все кричал, а старушка терялась от этого крика и отвечала невпопад.

— Я, матушка, буду жить не один! — кричал Вермель. — Со мной приехал из Ленинграда мой ученик, молодой художник Пахомов. Па-хо-мов!

— Не взыщите, — бормотала старушка. — Сейчас протопим, приберем. Дверь заклеим. У нас тихо...

— А как вас зовут, матушка?

— Да звали Варварой Гавриловной, — растерянно отвечала старушка. — А теперь по имени никто и не зовет. Внучка называет «бабусей», а соседи — так те просто «бабкой». Так

и живу без имени-отчества. Совсем от него отвыкла.

Вермель усмехнулся, оставил задаток, пообещал к вечеру переехать и ушел в гостиницу, где его ждал Пахомов.

Внучка Варвары Гавриловны — Маша, девочка лет двенадцати, — сидела внизу на сундуке и зажимала рот черной собачке. Собачонка рвалась в мезонин, чтобы обляять нового постояльца. Она рычала сквозь зубы, фыркала, царапалась, но Маша держала ее крепко и шепотом уговаривала:

— Дура ты, Муха! Мохнатая дура! Уймись!

Варвара Гавриловна не удивилась приезду художников. Их древний город на Волхове — Новгород — художники навещали часто.

Вот и сейчас Вермель и Пахомов приехали изучать фрески знаменитого мастера Феофана Грека и других — неизвестных древних живописцев. Вермель собирался работать вместе с Пахомовым над стенной росписью нового театра в Ленинграде. Ему хотелось придать своей живописи чистоту красок, какой отличались новгородские фрески. Они создавали впечатление, будто люди, написанные на каменных сводах, выступают из освещенного тумана.

Варвара Гавриловна уважала художников. Ее отец, живописец Гаврила Чирков, расписывал потолки и стены в особняках петербургской знати.

Времена были не те, что при Растрелли, — вместо больших, содержательных композиций приходилось писать жидкие гирлянды роз или орнаменты из секир и шлемов. Наступило царствование Александра III, время поддельного русского стиля — ларцов, отделанных фальшивой бирюзой, петушков на крышах, кучерской одежды. Даже в армии царь ввел форму, похожую на кучерскую, — шаровары с напуском, сапоги в «гармонику» и широкие кушаки.

Варвару Гавриловну выдали замуж за учителя рисования. Она уехала с мужем в Новгород, родила дочь. Муж заболел чахоткой и вскоре умер. Он сам отливал для «рисования с натуры» гипсовые головы Зевсов и Диан и очень этим увлекался. Варвара Гавриловна была убеждена, что болезнь он нажил, надышавшись гипсовой пылью.

Оставшись вдовой, она до самой старости преподавала вышивание в школе кройки и шитья. Очень боялась, что после революции школу закроют, но все обошлось, и Варвара Гавриловна дослужилась даже до пенсии.

Дочь ее, Татьяна, окончила школу в Новгороде, уехала в Ленинград, вышла замуж за пожилого актера, но вскоре тоже овдовела. Она привезла матери на воспитание свою дочь Машу, побыла несколько дней и уехала на юг. Было это лет восемь назад. С тех пор Татьяна приезжала

всего два раза, да и то ненадолго. На юге она работала в театре драматической актрисой, но о работе своей ничего не писала и не рассказывала. А Варвара Гавриловна по обычной застенчивости своей ни о чем ее и не спрашивала.

Глава 2

Вермель и Пахомов переехали к вечеру. В мезонине было уже натоплено, прибрано. Крашенный пол Маша натерла воском. На столе горела керосиновая лампа с круглым матовым абажуром.

Пахомову в доме у Варвары Гавриловны больше всего понравилась тишина. Она жила здесь, должно быть, давно. С ней свыклись, как с близким человеком, — даже с Мухой Варвара Гавриловна разговаривала вполголоса.

Малейший звук был слышен во всех углах. Когда падала на пол чайная ложечка, ей в ответ дребезжал потускневший рояль. Изредка Муха уходила на кухню, постукивая когтями, или Маша задевала в сенях проволоку от дверного колокольчика, и он долго позванивал.

Вермель успокоился, подобрел и перестал ругать ленинградских художников «фальшивомонетчиками» и «пачкунами». Придирчивый, всем недовольный, он мирился

только с Пахомовым, но все же не пропускал случая, чтобы не сказать, что Пахомов лентяй, мечтатель и, откровенно говоря, у него нет настоящего отношения к искусству. Вермель считал, что оно заключается в постоянном недовольстве своей работой, в спорах из-за каждой линии и каждого мазка. Пахомов же думал, что искусство начинается там, где исчезает напряжение.

Сначала он спорил с Вермелем, потом бросил. Старик сердился, ссылаясь на «работяг» Рембрандта и Александра Иванова, обзывал Пахомова «мальчишкой».

Пахомов любил Вермеля за горячность, строгий вкус, честность, наконец, даже за его потертую бархатную куртку с медными пуговицами. На каждой пуговице было выпуклое изображение зайца, лисицы, петуха или собаки. Вермель очень берег эти детские пуговицы. Когда они отрывались, он сам пришивал их вощеными толстыми нитками.

Пахомов не был лентяем, но мечтателем был с детства. Он скрывал это, боялся самого слова «мечтатель» — с ним было связано представление о чудаке, не способном ни на что путное.

Своего отца — известного в Петербурге архитектора — Пахомов не помнил. Он только знал, что отец выстроил на Морской улице тяжелый дом, облицованный черным гранитом с

водянистыми синими блестками. Дом в Петербурге прозвали «катафалком».

Кабинет отца в их квартире напоминал этот дом. Он был такой же хмурый, заставленный черными кожаными креслами с высокими спинками. Когда мать наказывала Пахомова — тогда еще маленького Мишу, — она сажала его на кресло в отцовском кабинете и заставляла сидеть два часа. Было скучно. Со стены из фиолетовой бархатной рамы смотрел солидный человек с раздвоенной бородкой и маленькими ушами. Мальчик не верил, что это отец, — отцы такими чужими никогда не бывают.

Мать Пахомова была обрусевшая гречанка из Одессы. Много лет спустя после ее смерти Пахомов увидел на столе у Вермеля толстую книгу. Называлась она «Старая Одесса». Он взял у Вермеля книгу и прочел ее. В ней он встретил фамилию своей матери и узнал, что его прадед был контрабандистом — таким же, как и греческие купцы в старой Одессе.

Только тогда Пахомов понял страсть матери к переменам, ее капризный нрав, постоянные увлечения, сменявшиеся молитвами и отчаянием, ее умение расшвыривать деньги и жить впроголодь в нетопленной квартире, заставленной букетами дорогих, холодных, как снег, тубероз. Все это было

от предков — левантийцев, авантюристов, фанариотов.

Вечером она возвращалась из театра возбужденная, хохочущая, засыпанная снегом. А наутро, получив короткое письмо, рыдала, надевала траурное платье и уходила молиться в Казанский собор.

Мария Францевна — пожилая женщина с испуганным лицом, прижившаяся у них в доме еще со времен отца, — торопливо укутывала Мишу, вела его в собор, пряталась с ним за колонной и заставляла молиться за спасение матери. Мальчик пугался — он не помнил ни одной молитвы. Он не знал, кто должен спасти мать, но не верил, что это сделает тот, кого Мария Францевна называла «спасителем» — худой человек, распятый на черном кресте. «Спаситель» был мертвый и никому помочь, конечно, не мог.

После революции исчезли туберозы, мужские письма, кожаные кресла и все комнаты, кроме одной. Мария Францевна поступила кастеляншей в общественную столовую. Мать вышивала бархатные знамена для новых, непонятных учреждений. Она похудела, начала быстро стареть, а весной девятнадцатого года заболела испанкой и умерла.

Миша остался с Марией Францевной. При ней он окончил школу и академию, стал художником и теперь жил со старушкой в новом доме в Лесном.

Каждый раз, когда Пахомов слышал слова «у него не было детства», он вспоминал о себе. Детства у него действительно не было... Что осталось в памяти? Пышные холодные комнаты, развешанные на стенах поучительные изречения. Их вышивала крестиками по канве Мария Францевна.

Товарищей у него тоже не было. Он играл один, выдумывал каждый день разные истории. То он представлял себя Гуинпленом, «человеком, который смеется», и в столовой, похожей на парламент, срывал с лица черную маску и гремел гневную речь: «Трепещите, милорды!» То он открывал лавку морских редкостей в ванной, продавал Марии Францевне розовые раковины, а горничной Даше разрешал за старую почтовую марку послушать, как они поют. Даша прижимала раковины к уху и ухмылялась — она не знала, что раковины поют об Азорских островах, где они жили когда-то в теплой синей воде.

Потом Миша начал собирать марки. Больше всего ему нравились на марках портреты президентов разных Венесуэл, Эквадоров и Парагваев. Со слов Марии Францевны он знал, что эти президенты всегда плохо кончали. Их жизнь

казалась ему самой неудобной на свете. Вместо того чтобы управлять своими республиками, они без устали гонялись друг за другом по пампасам и простреливали соперникам черепа из пистолетов. Но все же в этой бесшабашной и утомительной президентской жизни были и привлекательные вещи — ржание мустангов, пожары сухой травы, топот бизонов, приклад ружья вместо подушки...

И сейчас, хотя Пахомову было уже тридцать лет, он по-прежнему любил выдумывать разные истории. Он был уверен, что нет человека, даже самого серьезного, который бы не занимался тем же.

Глава 3

Пахомов лежал на диване и читал описание Великого Новгорода. Вермель ушел в город.

Пахомов отложил книгу и прислушался. Было слышно, как Варвара Гавриловна бормотала за вязаньем. Потом хлопнула калитка, кто-то прошел через палисадник. Задребезжал дверной колокольчик. Залаяла Муха.

— Кто бы это? — испугалась Варвара Гавриловна. — Погоди, Маша, вместе откроем.

Варвара Гавриловна заторопилась в прихожую. На вопрос, кто пришел, сильный голос из-за двери ответил: «Телеграмма».

Долго гревели засовы. Почтарь топтался на крыльце, сбивая с валенок снег. Варвара Гавриловна допытывалась, откуда телеграмма. Маша ответила, что из Одессы. Тогда Варвара Гавриловна охнула и заплакала, а Маша начала ее тормошить и кричать:

— Да ничего страшного, бабуся! Ничего страшного. Мама завтра днем приезжает. Ей дали отпуск после болезни.

Было слышно, как почтарь прошел в комнаты. Тонко пропищала дверца дубового буфета. Зазвенел стакан. Почтарь крикнул.

— Жить вам много лет, — сказал он и добавил, сокрушаясь: — Все меня опасаются, будто я одну смерть под расписку разношу. А видишь ты, иной раз и удовольствие получается от моей телеграммы.

Когда он ушел, внизу начался оживленный разговор. Трудно было разобрать, о чем говорили Варвара Гавриловна с Машей, но Пахомов догадался по отдельным словам, что говорили они о приезде дочери Варвары Гавриловны — Татьяны.

Когда вернулся Вермель, Пахомов рассказал ему о телеграмме. Вермель отнесся к предстоящему приезду благосклонно. Ему не хватало собеседников. Он был доволен, что в доме станет шумнее.

Внизу уже суетились. Варвара Гавриловна готовила тесто. Маша сбивала белки. Из кухни пахло горячим молоком и ванилью. Старушка беспокоилась, что до приезда Тани она не успеет прибрать комнаты, а Маша не сможет расчистить дорожку к любимой Таниной беседке — в конце сада, над обрывом. Оттуда был виден угрюмый новгородский кремль, оловянные — под цвет неба — купола собора, высокие липы за оврагом.

— Не помочь ли им? — спросил Вермель. — Все равно сейчас нам нечего делать,

— Чем вы поможете? — усмехнулся Пахомов. — Только напугаете и напутаете.

— Ну, нет! Я великолепно умею печь пироги. Великолепно! Всегда помогал своей матушке перед праздниками. Для меня запах шафранного теста приятнее самых дорогих духов. А мука, что скрипит под пальцами! А перемытый изюм! Пойдемте!

Он потащил Пахомова вниз. Варвара Гавриловна растерялась, но Вермель не дал ей опомниться. Он начал командовать: приказал Маше почистить миндаль, послал Пахомова в сарай за дровами, а сам взялся растирать масло с сахаром.

Когда Пахомов принес дрова на кухню и вернулся в столовую, там уже зажгли лампу, а Вермель, засучив рукава, тер масло в глиняной кружке и кричал:

— Масло, матушка, надо растирать до молочной белизны! Иначе у вас ничего не получится.

Варвара Гавриловна соглашалась, ласково кивала головой.

— Все наши художники, матушка, — кричал Вермель, — пачкуны! До сих пор не нашлось дурака, который бы догадался написать эти превосходные вещи. Вы посмотрите! — Он показал на взбитые белки. — Какая фактура! Ничто так не окрашивается в посторонний цвет, как белок. Сейчас он желтоватый от лампы, а поставьте его на окно, — Вермель перенес тарелку со взбитыми белками на окно, — поставьте вот сюда и посмотрите: он уже голубой от снега.

Маша смотрела на Вермеля, не мигая, вот-вот готовая прыснуть от смеха.

— Писать взбитый белок труднее, чем облака, — печально сказал Вермель. — Только фламандцы умели это делать, матушка. Одни фламандцы! Помните, как чудесно у них получалась рыба чешуя, вилок цветной капусты или гвоздика в стакане с водой.

Варвара Гавриловна все соглашалась, кивала головой.

— А почему? — закричал Вермель. — Потому, что неторопливо работали. И не лодырничали. Вглядывались в цвет, в форму. А

наши юноши стараются взять фокусами. Карандаш надо научиться держать в руке! — крикнул он, и Маша наконец прыснула от смеха. Сахарная пудра облаком взлетела со стола.

— Ах, какая озорница! Не знаю, что с ней делать, — вздохнула Варвара Гавриловна. — Такая озорная, прямо цыганка, — вся в мать!

Пахомов не стал слушать разговоров Вермеля. Он нашел в сенях деревянную лопату и вышел в сад. Ему захотелось расчистить дорожку к беседке.

В саду таинственно белел снег. Пахомов остановился, посмотрел вокруг, подумал, что зима очень подходит к нашей скромной земле.

Снег лежал глубокий, чистый. На нем не было даже птичьих следов.

Сначала дорожка, едва заметная по неглубокой выемке в снегу, проходила около старых лип. Потом она огибала скамейку со сломанной спинкой, пробиралась через обледенелые заросли сирени и оканчивалась около двух ветхих ступенек. Они вели в круглую беседку с деревянными колоннами. Черные стебли дикого винограда цеплялись за погнутые ржавые гвозди, вбитые в эти колонны.

Пахомов сбросил снег с перил. Они были изрезаны начальными буквами имен. Букв было не много. Чаще всего попадались буквы «Т» и «А». Потом счистил снег со скамейки и пола. К

обледенелым доскам примерзли прошлогодние листья и вялая, до сих пор еще зеленая трава.

Начал идти редкий снег. Он падал медленно, неохотно. Отдельные снежинки останавливались в воздухе, иногда даже подымались вверх, будто раздумывали, как незаметнее лечь на землю. Пахомов подумал, что снег прикроет следы лопаты и сад опять будет стоять нетронутый, чуть печальный, как стоял всю зиму до этого вечера.

Глава 4

Татьяна Андреевна проснулась на безлюдном полустанке за Витебском. Поезд стоял. Щелкали горячие трубы отопления, гулко дышал паровоз. Зимний день, похожий на сумерки, белел за опущенной оконной шторой. В купе было по-утреннему сонно. Пахло пылью и мандаринами.

Татьяна Андреевна быстро оделась, вышла в прохладный коридор и зажмурилась.

Зима навалила за окнами россыпи мягкого серебра. Вдали за лесом струился к небу столб прозрачного дыма. По дороге вдоль насыпи ехал в розвальнях человек с белой от инея бородой и хлопал желтыми рукавицами. Лошаденка его — тоже заросшая белой мохнатой шерстью — поблескивала, как стеклянная, когда розвальни попадали на просеки, освещенные солнцем.

Татьяна Андреевна улыбнулась. За последнее время она часто вспоминала серенькую зиму, пар из лошадиных ноздрей, ухабистые накатанные дороги. На них всегда валялось сено и важно бродили вороны.

Скоро Порхов, Старая Русса — уголки, знакомые с детства, лежащие на отлете от торных дорог. Татьяна Андреевна любила их за простодушие и болтливость жителей, за легкую грусть, какую эти места вызывали у нее на сердце. Нельзя было даже назвать это грустью. Вернее, это было ощущение своего, кровного. Здесь прошло детство с несбывшимися смешными мечтами, с бреньканьем бубенцов — они всегда звали Таню в дальнюю дорогу.

Поезд примчал на север воздух Черного моря, одесских кофеен. Этот воздух был наглухо закупорен в жарких вагонах. Он казался чужим, одуряющим тем застенчивым провинциалам в треухах, что садились на промежуточных станциях. В этом капризном воздухе, в горьковатом запахе cedры была нарядность юга, его подчеркнутая и враждебная северу красота.

На столике в купе стояли в стакане с водой четыре темные розы. За всю дорогу они потеряли только три лепестка. Татьяна Андреевна подолгу смотрела, как розы, вздрагивая от стремительного хода поезда, пролетали через белые равнины,

проносились по околицам увязших в снегу деревень, врываются в окутанные паром леса.

Татьяна Андреевна еще в Одессе загадала: если цветы не облетят в дороге, то она совсем оправится от болезни и в Новгороде ее ожидает счастье, а если облетят... Ну что же — тогда опять потянется проясняя жизнь без больших радостей и огорчений.

— Без радостей и огорчений, — повторила она вслух, поймала себя на том, что говорит неправду, и нахмурилась. Огорчения были, и даже очень большие. Из-за них она и ехала с такой радостью в Новгород, на север.

Там ее ожидала неторопливая жизнь, где все приходит в назначенные сроки. Утром зимнее солнце всегда будет покрывать оранжевым светом ствол одной и той же старой березы. За чаем и за обедом всегда будет негромко позванивать посуда, а вечером зажгут в столовой висячую лампу, и Татьяна Андреевна будет перелистывать старые журналы. И постарается ни о чем не вспоминать, отдохнуть всем сердцем.

Когда Татьяна Андреевна оставалась одна в купе, она дышала на цветы, обдувала их теплом и смеялась над собой. Конечно, она еще совсем дура! Все время думает, что кто-то должен погладить ее волосы, потрепать по плечу.

Она перебрала свою жизнь, как перебирают старые письма, и покачала головой. Да, жизнь, кажется, еще не начиналась.

Было детство, заштопанные чулки, платья, перешитые из маминых, боязливая Варвара Гавриловна, длинные зимы и все одна и та же темная картина над роялем — итальянский рыбачий поселок, где валяются на берегу моря мальчишки в красных поясах. А у них по берегам Волхова сидели с удочками только старики, похожие друг на друга. Таня знала их всех в лицо.

Летом она каталась на лодке по Волхову, доезжала до озера Ильмень. Выходила на сырой луг, смотрела на белые громады Юрьевского монастыря, жевала травинку, задумывалась. Она кончила школу, у нее уже были тяжелые косы и низкий голос, но еще ни разу с ней не случилось ничего замечательного. Должно быть, замечательные вещи случались только в кино — в магическом мерцающем мире, где вихри снега неслись вслед за счастливыми лыжниками и Пола Негри танцевала в кабаках, украшенных лосиными рогами.

Интересные вещи случались еще в книгах и в театре. Таня читала о гибели пленительной комедиантки Марион Делорм, об испанской рыжеволосой артистке Лале Рук, упавшей на колени перед Рихардом Вагнером. В томике

Пушкина она нашла в примечаниях две строки из «Евгения Онегина», выброшенные поэтом, но спасенные одним из его почитателей: «И в зал, как лилия крылатая, колеблясь, входит Лала Рук». То, что она считала выдумкой писателя, оказалось правдой — Лала Рук была в России, и ее видел Пушкин.

Всюду в книгах Таня выискивала прекрасных женщин и хотела им подражать. Тургенев рассказал ей о Лизе Калитиной, Лермонтов — о черкешенке Бэле, Флобер — о госпоже Бовари, Петрарка — о Лауре. Но разве она, застенчивая девочка, могла быть в жизни такой, как эти женщины! Разве о ней мог написать рассказ Лермонтов или грустить Флобер! Только в театре, на подмостках, в разноцветных огнях, она могла бы сделаться одной из этих полных силы и изящества, любящих и страдающих женщин.

Таня решила после школы стать актрисой. Варвара Гавриловна ее не отговаривала.

Театральный учитель Тани, ленинградский актер Бобров, вскоре стал ее мужем. Это был беспокойный человек с желтым припудренным лицом.

Он был всегда вежлив, сух. Когда же был чем-нибудь недоволен, то любил притворяться глуховатым и по несколько раз скороговоркой переспрашивал собеседника: «Простите, что вы

сказали?» После одного-двух таких вопросов пропадала охота с ним разговаривать.

Бобров утверждал, что самое главное для актера — жест, что нужно добиться, чтобы зрители аплодировали жесту, а не словам, и что единственный благородный жанр в театре — это мелодрама. В разговоре он употреблял слова, свойственные маленьким актерам, — «волнительно», «на полном серьезе», «на интиме», — и думал, что это очень тонко и придает его речи изысканность.

Уже через год Татьяна Андреевна смотрела на мужа с недоумением и не могла понять, как это случилось, что она вышла за него замуж. Ей казалось, что раньше он был совсем другим — внимательным, умным, веселым. Неужели все это оказалось притворством?

Пожилая актриса, игравшая строптивых старух, единственный человек, кого она посвящала в свою жизнь, — объясняла все просто.

— Ты, дочь моя, — сказала она басом, — книги читай, а живи не по книгам. Фантазии брось! Человек он обыкновенный, больной. Ума — сколько надо. А ты что же? Думала, он гений? Живи проще, не заносись!

Но проще ей жить не хотелось. Когда умер муж, она решила создать свой театр из молодежи, где единственным законом будет искренность,

простота, любовь к искусству, лишенная аффектации и возвышенной болтовни.

Она уехала в Одессу, хотела открыть там при драматическом театре студию. Но на это не хватало ни опытности, ни сил, и она по-прежнему оставалась актрисой на ролях трагических героинь.

...Татьяна Андреевна задумалась и не заметила, как зимний день перешел в сумерки. Розоватый свет затлел на снегах. Проводник прошел по коридору и строго сказал в открытую дверь купе:

— Скоро Новгород, гражданка. Собирайтесь. Стоим десять минут.

Татьяна Андреевна заторопилась, собрала свои вещи, достала из сумочки маленькое зеркало и напудрилась.

«В кого я вышла? — подумала она, разглядывая себя в зеркало. — Не в мать и не в отца».

Она была высокая, прямые широкие плечи и каштановые волосы помогали ей играть красавиц героинь, а в зеленоватых глазах и чуть смуглом лице не было ничего русского.

— Совсем я не похожа на северянку, — вздохнула Татьяна Андреевна. — А ведь это все мое, родное!

Посмотрела за окно. Березовые перелески убегали к горизонту. За ними низко блестели свинцовые и золотые купола Софийского собора.

Потом зажглись редкие огни. Поезд обдал паром кривые домишки с резными крылечками и голубятнями. Начинались окраины Новгорода.

И вот наконец вокзал — маленький, всегда безлюдный зеленый вокзал с его финиковыми пальмами и хрустящими скатертями в буфете.

Татьяна Андреевна сошла на платформе. Навстречу бежала худенькая девочка с двумя длинными косами. Она держала в руках мохнатую черную собачонку. Собачонка лаяла на вагоны.

— Маша! — Татьяна Андреевна засмеялась, обняла смущенную девочку и крепко расцеловала ее холодные щеки. — Боже мой, какая ты стала высокая!

— Мама, — тихо сказала Маша и уткнулась лицом в меховое плечо матери.

Татьяна Андреевна взяла ее за подбородок, хотела поднять голову, но Маша упиралась. Муха зарычала. Тогда Маша подняла голову, посмотрела на мать влюбленными глазами и снова потупилась.

— Это ты рассыпала, мама? — спросила она. На платформе валялись темные лепестки. Когда Татьяна Андреевна обняла Машу, она прижала цветы к плечу девочки, и одна из роз осыпалась.

— Хорошо, что не все, — ответила Татьяна Андреевна. — Ну, пойдём!

На площади топтались извозчики. Среди них Татьяна Андреевна тотчас узнала голубоглазого старика. Бестолково дергая веревочными вожжами, он подал к вокзальному крыльцу сани, стащил меховую облезлую шапку и пробормотал:

— Дал бог свидеться, Татьяна Андреевна. А то сиротствуем мы без тебя.

Татьяна Андреевна ехала с Машей по знакомым улицам, смотрела на румяных женщин, гремевших ведрами около водоразборных колонок, на убранные инеем высокие липы и улыбалась.

— А у нас живут художники, — сказала Маша, но Татьяна Андреевна даже не расслышала ее слов — из кремля долетел удар колокола и важно поплыл над садами.

— Как хорошо! Ты даже не понимаешь, Маша, как здесь у вас хорошо!

Глава 5

Весь вечер внизу были слышны разговоры, смех, стук тарелок, лай Мухи. Потом кто-то взял на рояле несколько нот. Варвара Гавриловна сказала: «Маша, зови. Все готово». Рояль затих, но еще долго гудел, будто просил, чтобы на нем продолжали играть.

В мезонине появилась сияющая Маша в новом синем платье и лаковых туфлях. Она остановилась у двери и, не поднимая глаз, глядя с восхищением на свое платье и туфли, сказала Вермелю:

— Бабушка и мама зовут пить чай.

Она покраснела, повернулась и убежала. Вермель проворчал, что у него слишком домашний вид для званого вечера, и торопливо застегнул пуговицы на бархатной куртке. Потом он потер колючие щеки.

— Когда это вы успели побриться, Миша? — подозрительно спросил он Пахомова.

— Да что вы, Николай Генрихович! Я бреюсь каждый день.

— Могли бы и через день. Все равно брить нечего.

Пахомов промолчал. Он привык, что Вермель разговаривал с ним, как с мальчиком, отданным ему, Вермелю, на воспитание.

Они спустились вниз. С кресла поднялась молодая женщина и крепко пожалала им руки.

— Вы здороваются, как американка, — сказал Вермель. Его ворчливое настроение еще не прошло. — Могли быть художницей.

— Почему? — смущенно спросила Татьяна Андреевна.

— Крепкая рука.

— Это наследственное. У меня и отец и дед — оба были художниками.

— Вот это я одобряю.

Чайный стол сверкал. Старый хрусталь, пылившийся годами в буфете, а теперь вымытый и протертый до алмазного блеска, отражал медный бок самовара, синий узор на скатерти и влажный багряный цвет осыпающихся роз.

На Варваре Гавриловне было коричневое шелковое платье с буфами и кружевная накладка. Пока все пили чай и Вермель, успокоившись, рассказывал о хитрости новгородских мастеров, сумевших скрыть от потомков секреты красок. Варвара Гавриловна смотрела из-за самовара на Татьяну Андреевну и удивлялась — какая красавица!

Откуда только взялись и этот рост, и стройность, и тяжелые волосы, и глаза, что светятся таким хорошим блеском! Говорили, что у них в роду была одна такая красавица, жена прадеда, драгунского капитана Чиркова. Она была полька — взбалмошная и гордая.

Драгунский капитан познакомился с ней в Одессе. И будто бы даже Пушкин был у ее ног. Но мало ли что болтают. Говорили, что их было две сестры-красавицы. Одна вышла за Чиркова, а другая — за знаменитого французского писателя, но Варвара Гавриловна не могла припомнить его

имени. Знала только, что писатель перед смертью разорился, и говорили, из-за жены, из-за ее капризов. Он любил ее без памяти и ни в чем ей не отказывал.

Варвара Гавриловна хотела спросить Таню, как фамилия этого французского писателя и как звали красавицу прабабку. Но спохватилась, — как бы художники не подумали, что она кичится прошлым своей небогатой семьи.

После чая художники скоро ушли. Они заметили, что Татьяна Андреевна очень устала.

Перед сном Татьяна Андреевна вышла с Машей пройтись немного по саду. Падал крупный снег, цеплялся за ветки деревьев. Татьяна Андреевна смахивала его с бровей, со лба.

В беседке Татьяна Андреевна протянула руку ладонью кверху. Тотчас не нее упало несколько больших снежных хлопьев. Прижала ладонь к губам. Снег охлаждал губы, оставил на руке влажный след.

— Вот и опять я увидела зиму, — сказала Татьяна Андреевна. — Очень я по ней соскучилась, Маша.

— А в Одессе не бывает зимы?

— Там зима совсем не такая. Все время ветры, бури, а снег походе на град.

Татьяна Андреевна нащупала на перилах вырезанные буквы «Т» и «А» и усмехнулась.

— Какая я была глупая, Маша, — сказала она. — Изрезала всю беседку. Эти буквы вырезала, когда мне было пятнадцать лет.

— А что они значат?

— «Т» — это Татьяна, «А» — это Александр. Имя Пушкина.

— Зачем же ты его вырезала?

— Любила. И ты когда-нибудь полюбишь. Среди ночи Татьяна Андреевна проснулась от непривычной тишины. Позванивали пружиной старые стенные часы. Далеко за городом, на запасных путях, закричал паровоз. Из сада проникал в окна синеватый дымный сумрак. Потом донесся давно позабытый стук — ночной сторож бил в деревянную колотушку.

Она улыбнулась, вздохнула, закрыла глаза и, засыпая, подумала: как хороню, что ночь такая длинная! А утром, когда проснешься, из столовой будет пахнуть только что смолотым кофе и осыпавшимися розовыми лепестками.

Глава 6

Старинная Троицкая церковь, где недавно открыли фрески четырнадцатого века, стояла за городом у околицы безлюдной деревушки. Такие деревушки на севере зовут «погостами».

Вермель и Пахомов вышли из дому еще в темноте, чтобы дойти до погоста пораньше и успеть засветло сделать наброски фресок. Солнце повернуло к лету недавно, и дни стояли еще короткие. В три часа уже темнело.

На погосте только над одной избой курился дымок. Все остальные избы будто вымерли. Озябший пес вылез из кучи старой соломы и лениво залаял. При каждом лае из его рта вылетали клубы пара. На лай никто ниоткуда не вышел. Пахомов постучал в избу, где курился дымок. Там жил сторож Иван Матвеевич — высокий, рыжий, любивший поговорить о научных предметах. Он вышел в нагальном полушубке, со связкой огромных ключей.

— Отпирать сейчас, или чайку сначала попьете? — спросил он, почесывая небритые щеки. — Я вам самоварчик поставлю.

— Успеешь с самоварчиком, — сказал Вермель. — Ты бы лучше печку в церкви затопил.

— Это можно, — согласился Иван Матвеевич.

Каждый раз Пахомов, подходя к церкви, останавливался и смотрел на ее строгие стены, глубокие оконца, низкие почернелые купола. Сквозь ржавчину просвечивало их красноватое золото.

В церкви стоял каменный холод. Разбитые стекла были закапаны птичьим пометом. На стенах

наросла изморозь. Сквозь нее проступали желтые, красные и синие пятна фресок.

Иван Матвеевич затопил железную печку. Около нее можно было греть воду для акварельных красок и оттирать посиневшие пальцы. Запахло дымом. Сухо затрещал огонь.

— Это вы правильно действуете, — сказал Иван Матвеевич, сидя на корточках около печки. — Справедливо надумали все от руки срисовать. Я вам по совести скажу — недолго она простоит, эта церковь. Люди, которые без сознания, давно на нее зубы точат. Кирпичом интересуются. А тут, понимаешь, какой кирпич, — его ломом не отшибешь! Шут его знает, что в него клали, — звенит, как железо.

— А ты откуда знаешь? — подозрительно спросил Вермель.

— А как не знать! Мы в прошлом годе звонницу начисто разобрали. Потом, конечно, приезжал секретарь из города, стыдил. Вы, говорит, самовластно стариной не швыряйтесь. В ней, говорит, заложена государственная цена. Мы-то понимаем, что цена, а когда печка в избе завалилась, так тут тебе не до цены!

— Дуроломы вы, вот что! — сказал Вермель.

— Это правильно, дуроломы! — согласился Иван Матвеевич. — Теперь мы, конечно, пришли к пониманию. Бережем, как можем. Вот сторожем

меня наняли. Только я соображаю, что жалованье мне идет слабое. Приезжают художники, глядят, рисуют, и только и разговору, что «ох» да «ах», какое, мол, богатство здесь содержится. А мне за его сбережение пятьдесят рублей в месяц, и ни полушки боле.

— Ты бы помолчал, Матвеич, — сказал в сердцах Вермель. — Плетешь сам не знаешь что. Противно слушать.

— Да я ничего, — пробормотал Иван Матвеевич и закурил удушливую сигарку. — Вот весна придет — я стекла вставлю. Ты меня не кори. Я человек трудовой. Я руки плугом оттянул и ко всякому ремеслу имею уважение. Ты погляди, на стенах какая красота. Значит, и труд был великий, большое было старание. Это, конечно, понимать надо. А кто не понимает, тот, по-моему, пустой человек, ненужное существо для нашего государства.

— То ты одно бубнишь, то другое, — сказал Вермель и махнул рукой.

— Милый человек, Николай Генрихович! Да кабы не нужда в кирпиче, мы бы разве звонницу сломали! Ежели бы возможность, мы и пылинки отсюда не вынесли. Ведь небось наши прадеды, самые что ни на есть серые мужички, всю эту прелесть работали. И выходит, что ты на меня понапрасну шумишь.

Художники уже несколько дней трудились в этой церкви и привыкли к болтовне Матвеича. Болтал он больше «для разговора».

Растопив печку, Матвеич долго сокрушался, что в окнах выбиты стекла, обиняками допытывался, не поможет ли ему Вермель достать в городе ящик стекла, и ушел довольный — Вермель обещал похлопотать в городском Совете.

— А то, понимаешь, неловко, — сказал напоследок Иван Матвеевич. — Шут его знает, кто стекла побил. Ребята у нас смирные. Может, сами полопались от ветхости или мороза.

Первое время художники работали молча. Со стен грозно смотрели святители. Их одежды были разрисованы тусклыми травами, босые ноги стояли на холодных камнях.

— Черт знает, — сказал Вермель, — до чего умело подобраны цвета у этих богомазов. Красный, золотой, оливковый — и ничего больше.

Пахомов не ответил.

— Было бы у меня время, — сказал, помолчав, Вермель, — написал бы я книгу о красках. Конечно, если бы я был писателем, — добавил он неуверенно. — Каким-нибудь Анатодем Франсом.

— Старые итальянцы писали о красках.

— Да кто их читал, ваших итальянцев! Каждой краске я отвел бы главу. Книгу снабдил бы секретами приготовления красок, отклонениями в

историю, оптику, в законы солнечного спектра. Так-то, батенька!

— Ас чего бы вы начали?

— Не знаю. Должно быть, со своего детства. У моей тетушки в Тихвине висела старая люстра. Подвески у нее были сделаны из голубоватого стекла. Солнце светило в зал, где висела люстра, только по утрам. Так у меня и осталось в памяти: раннее утро, темненький зал, где бегают зайчики от кривых окон, ветер надувает пыльные занавески, и люстра поблескивает на солнце, как гроздь вялого винограда. Тогда-то я и понял, что значит живой цвет. А мы с вами, Миша, всю жизнь возимся с мертвыми красками, черт бы их побрал!

— А Ренуар? — спросил Пахомов. — А Веласкес? Они тоже писали мертвыми красками?

— Конечно! Вы не понимаете, что такое живая краска. Она не только передаёт ощущение цвета, но и излучает цвет. Она, как маленькое солнце, бросает отблеск на все, что вокруг. Нет таких красок! И никогда не было!

Вермель помолчал.

— Не помните, Миша, — спросил он, — кто писал о красном цвете? Какой-то итальянец... Забыл я, как его звали.

— Нет, не помню.

— У него есть место, где он пишет о разной яркости красок. Забыли? «Утро, — пишет он, —

полное свежести и росы, сообщает красному цветку пылающую силу роз, прозрачность зари, свойственную воздуху плоскогорий. Днем красный цвет приобретает темный оттенок, похожий на сгустившееся на дне стакана вино. К вечеру солнце склоняется за цветущие холмы, мгла застилает виноградники Умбрии, и красный цвет, равно как и другие краски, приобретает туманный блеск. Его не может передать моя варварская кисть». Хорошо сказано?

— Хорошо, — согласился Пахомов. — Однако какая у вас память!..

На амвоне около иконостаса были сложены куски обвалившихся фресок. Вермель долго рассматривал их, измерил толщину штукатурки и положил несколько кусков в карман. Он утверждал, что прочность красок зависит от штукатурки, — надо было узнать ее состав.

Все тот же пес сидел на снегу около церковной двери и дрожал. Изредка он скреб дверь лапой, просился, чтобы впустили. Потом заскрипел под ногами снег, пес хрипло залаял. Иван Матвеевич просунул голову в дверь и сказал таинственно:

— Гости к вам. Пустить их сюда или лучше в избу погреться? Баба у меня печку истопила.

— Что ты плетешь? Какие гости? — испугался Вермель.

— Ты не опасайся. — Матвейч усмехнулся, и рыжая щетина на его щеках поднялась, как у ежа. — Гости веселые. Так и быть, пущу их сюда. Ругай меня потом, сколько хочешь.

Он нажал плечом железную дверь, и тотчас Вермель и Пахомов услышали вместе со скрипом столетних петель смех Татьяны Андреевны и Маши.

— Ради бога, не сердитесь, Николай Генрихович, — сказала Татьяна Андреевна. Ресницы у нее побелели от инея, и потому глаза казались особенно умоляющими. — Мы гуляли с Машей и забрели сюда.

— С ума вы сошли! — закричал Вермель. — Сейчас же в избу!.. Тут модою смертельно простудиться. Миша, уведите ее, ради бога! Что это за причуды — после болезни лезть в этакий столетний холодильник!

— Мы только хотели посмотреть, что вы здесь делаете. — Татьяна Андреевна прикрыла рот платком. — Я сейчас же уйду.

— Настоящая девчонка, честное слово! — пробормотал Вермель.

По дороге в избу Татьяна Андреевна рассказала Пахомову, что они гуляли с Машей по городу, потом вышли в поля. День в полях был такой мягкий и тихий, что они решили дойти до погоста.

В избе чуть пахло угаром. Жена Матвеича вытерла фартуком широкую лавку, усадила гостей. Маленький мальчик в огромных валенках сидел на полу, сопел и строгал из щепок игрушечные лыжи. Он исподлобья взглянул на гостей и опустил голову. На вопросы он не отвечал — только широко ухмылялся. Должно быть, обыкновенные вопросы — сколько ему лет, как его зовут и что он делает — казались ему очень глупыми.

Пришел Вермель, еще раз накричал на Татьяну Андреевну и сел за стол. Татьяна Андреевна сняла платок. Жена Ивана Матвеевича взглянула на нее, охнула и запела:

— Желанная моя! Глядеть-то на тебя можно? Гневаться не будешь?

— Гляди, Кондратьевна, — сказал Вермель. — Может, в другой раз не сподобишься.

Татьяна Андреевна с упреком взглянула на Вермеля, а Маша засмеялась.

— Я и гляжу, — сказала Кондратьевна, и на озабоченном ее лице появилась удивленная улыбка. — Хоть на чужую красоту наглядеться. Свою-то я давно забыла. Да и была ли она — не припомню. Иные бабы завидные к чужой красоте, а я рада. Старухи наши говорят, где красота — там и рай. Изба у нас дымная, ну прямо курная, а ты вошла — и никакого убранства не надо: ни шитья, ни свечей, ни цветов. Осветилась изба.

— А ты, чем стоять столбом, — сказал Матвейч, — скорей бы чаю дала. Люди пришли с мороза.

Кондратьевна поставила на стол синие треснувшие чашки, но снова всплеснула руками и засмеялась:

— Люди болтают, что для красоты и месяц подымается, чтобы ночью она не скрывалась от глаз. Век у нее недолгий.

«Откуда у Кондратьевны такие слова? — подумал Пахомов. — В каких углах сознания рождается поэзия? Кто может сказать, откуда пришли стихи Пушкина о том, что «неба своды сияют в блеске голубом», сказки Андерсена, органные грозы Баха?»

Уходили с погоста в темноте. Небо очистилось от туч. Над пустыми полями горела звезда. У Татьяны Андреевны смерзлись ресницы, и потому ей казалось, что от звезды падают на дорогу ломкие полосы света.

— Зажмурь глаза, — приказала она Маше, — и посмотри вон на ту звезду.

Маша зажмурила глаза и тоже увидела колючие лучи.

А на погосте долго лаял им вслед мохнатый пес. Лаял от досады, что они ушли. Пес любил, чтобы его трепали по свалявшейся шерсти, но до Маши никто этого не делал.

Он взвизгивал, сидя на пороге избы, пока мальчик в огромных валенках не втащил его за веревочный ошейник в сени. Тогда пес потоптался на старой соломе, лег, долго смотрел в темноту и подымал уши — слушал, не возвращается ли Маша. Но никто не вернулся. Пес тяжело вздохнул, положил голову на лапы и закрыл глаза.

Глава 7

Метель гудела всю ночь над Михайловским, Тригорским, над Соротью. Столетние ели в пушкинском парке гнулись в свинцовом дыму. Морозная пыль летела из волчьих полей. Изредка в небе светилось голубоватое пятно — за тучами пробивалась луна, но тотчас гасла — с заунывным свистом на нее неслась темнота.

Ветер швырял снег на страшную высоту, как белые косматые протуберанцы. Швейцеру казалось, что снег долетает до луны и падает на ее изорванные в клочья железные горы.

Швейцер ни разу не видел такой метели. Почти всю жизнь он прожил в Ленинграде. Уезжал только на дачу около Луги или в Крым, в Коктебель.

Знаток Пушкина, собиратель всего, что имело отношение к поэту, он, Семен Львович Швейцер, до пятидесяти лет не успел даже съездить в

Михайловское. Всегда как-то неудачно складывалось время. То приходилось писать срочные статьи, то все время отнимала работа над обширными исследованиями, а они требовали постоянного сидения в архивах и библиотеках, то, наконец, восставала жена, Серафима Максимовна. Ей казалось, что в деревне Швейцер тотчас же простудится и умрет.

В молодости у Швейцера начиналась чахотка, его послали в Давос. Там он и встретился с Серафимой Максимовной — студенткой Лозаннского университета.

Серафима Максимовна происходила из потомственной семьи врачей. Ее отец — седоусый хмурый хирург — потребовал, чтобы она тоже стала врачом и обязательно училась за границей. Серафима Максимовна походила на отца — коренастая, с усиками над губой, копной седых волос и серыми спокойными глазами.

Говорила она громко, решительно. Швейцер — маленький, худой, очень подвижный, носивший старомодную седую бородку — казался перед ней гномом.

Он уважал Серафиму Максимовну и побаивался ее. Она одобряла его литературные занятия, даже гордилась ими, ходила со Швейцером только в концерты, считая театр грубым зрелищем,